ПЯТАЯ ЖИЗНЬ РУДАКОВА

1

После того как тяжелая трясина болезни охватила старое и беззащитное тело Рудакова, все человеческие символы и нравственные категории стали для него не дороже дырки, находящейся в середине бублика. Родина, любовь, дружба, долг, бессмертное творчество – что это такое по сравнению с физической болью? Все это придумано живыми, здоровыми людьми, теми самыми людьми, с которыми у него, Рудакова, теперь уже нет никакой связи. Он для них давно уже что-то нелепое, старое, отработанное, перегоревшая лампочка, выпитое вино, прочитанная книга.

Михаил Дорофеевич возвращался на родину, на ту самую родину, которую он покинул семнадцать лет назад и о которой он раньше думал ежечасно и даже ежеминутно.

В последние годы все чаще и чаще приходила ему в голову мысль о том, что вернуться уже не удастся. Но даже в самые тяжелые, даже в самые отчаянные минуты своей жизни не думал Михаил Дорофеевич о том, что возвращаться ему придется в *таком состоянии.*

Ну а что он мог поделать с собой? Пустить пулю в лоб? Это пошловато смотрится, а главное, уже было. И напоминает бульварный роман. Он все-таки был писателем, и писателем крепким, как говорят в России, маститым, чувствующим законы жанра. Бульварный роман не входил в круг его интересов.

Он часто писал о смерти, особенно в молодости. Он был на удушающей мировой войне. Он в прямом смысле слова чуть не умер от удушья –
это было чуть ли не первое в истории применение армией Вильгельма удушающих газов. Но ни разу в своих рассказах не описал Михаил Дорофеевич смерть насильственную. Его герои умирали от старости, от холеры, от родильной горячки, попадали под колеса, но никто не застрелился, не повесился, никто даже не был застрелен врагом на поле боя. Почему?

Насильственная смерть была ему омерзительна. А теперь… Теперь своим восприятием мира он совсем не отличался от того, прежнего. Он был даже больше, чем раньше, восприимчив к всевозможным звукам, запахам, прикосновениям. Он постоянно работал над дневниками, путевыми заметками. Но он не мог говорить.

И вот они запихали его в этот вагон, его, *бывшего* человека, ничего не умеющего и сказать толком. Кто он был для них, для этих розовощеких парней из ГПУ? Кто он был вообще в этом странном, непонятном и враждебном мире?

Разве он был тот самый Мишенька, которого купала в корыте косоглазая нянюшка? Разве мог он подумать, что теперь, в этом гнусном вагоне, так отчетливо вспомнит запах мыла, скользкие лавки деревенской бани? Вспомнит, как поскользнулась однажды нянюшка, встав красной босой ногой, с нелепо оттопыренным большим пальцем, на свалившееся с лавки скользкое мыло, как чуть не упала и опрокинула на пол корыто с мыльной горячей водой.

«Някуна, някуна», – проговорил Михаил Дорофеевич.

«А шо он хутарит, Тэрэщэнко?» – выдавил один из небритых усатых парней.

«А ухто?»

«А письменьник».

«Який письменьник?»

И это было невероятно страшно, невероятно обидно и позорно – возвращаться на родину вместе с такими конвойными – безграмотными хохлами.

– Доброе утро, Михаил Дорофеевич. Чего изволите – чайку, кофейку? – послышался юношеский тенорок очень бодрого человека, давно вышедшего, однако, из юношеского возраста.

В купе ввалился Яков Зиновьевич. На длинном носу дрожало тонкое пенсне, рука нервно теребила начинающую седеть козлиную бородку.

– Кк-кааю, каю, – проговорил Рудаков.

– Чаю, стало быть? – переспросил Свойский, начинающий понимать бормотание писателя. – Сейчас сообразим. Скоро Смоленск будет, батенька. Можно по платформе погулять. Не изволите? Под моим чутким партийным руководством?

В Смоленске было зябко и неуютно. Сквозь мелкую сетку дождя голубело причудливое пятно Успенского собора.

– Завтра будем в Москве… Дождались, батенька, возвращения.

«Дождались, батенька. Это он правильно сказал. Чего только дождались – непонятно».

Использованная вещь, использованная! Прочитанная книга. О, если бы прочитанная! Может быть, этот большевистский либерал Свойский, этакий большевик с лицом учителя провинциальной гимназии, еще читал, точнее, перелистывал его книжонки, перелистывал просто так, ради большевистского самообразования, по местечковой любознательности, но все эти пропахшие луком и салом неотесанные тэрэщэнки и слыхать о нем не слыхивали.

И вот теперь он едет к ним, едет в самое сердце совдеповской России.

Он вспомнил искаженное от ненависти лицо Ражева, презрительную усмешку его обворожительной Зиночки.

«C'est ridicule, Roudakov[[1]](#footnote-1)», – процедила она, поджав тонкие губки.

В эмигрантской среде говорить по-французски среди своих считалось дурным тоном, и Зиночка не могла это не понимать. Она специально иногда вставляла французские словечки, чтобы показать, что может быть не как все – во-первых, потому, что она красавица, а во-вторых – хотя бы потому, что подруга великого Ражева, первого писателя русской эмиграции.

Да что там Ражев! Плевать ему теперь было на Ражева, на его барские гримаски, на тонкие сигаретки, которые он нервно ломал холеными руками аристократа! Плевать было на всех его семиколенных само-
влюбленных бабушек-крепостниц, почитательниц болонок и вишневого варенья, на всех этих обнищавших курских и орловских папенек, неудачливых игроков в карты и любителей дородных солдаток, лениво фланирующих с мухобойками по захудалым усадьбам.

У него, лекарского сына, была своя судьба! И пусть писал он не так блестяще, как наш барин, и пускай нога его никогда не ступала и не ступит на ступеньки Стокгольмской ратуши, и никогда не наденет он фрак, спеша получить от шведской королевской четы вожделенную премию.

У него с детства было все другое. Слезливая и пастозная матушка, страдающая чахоткой, экземой и грудной жабой, патриархальный Серпухов, сводчатые и дырчатые голубятни на старых гнилых чердаках и высохшие, каменные просфорки, от которых ломались и крошились, как мел, некрепкие молочные зубы. А еще была тетушка Филарета, старая девка, криворожая, лживая и богомольная.

А потом потянулась жизнь третья, военная. Началась она болезненно рано, в те годы, когда обычные домашние мальчики еще ездят на игрушечных лошадках и смешно размахивают деревянными сабельками. Очень рано началась, как и обычный учебный день в кадетском корпусе, когда приходилось спрыгивать с жесткой железной койки под ужасающую барабанную дробь, глядя осоловевшими от сна глазами на еще не потушенные ночные фонари. А потом было артиллерийское училище с его дисциплиной и зуботыканием, разочарование в военной службе, первоначально казавшейся такой романтичной… да чего только не было!

Третья жизнь Рудакова была жизнью сочинителя. Рудаков нелегко входил в писательскую профессию. Поначалу, когда она еще совсем не кормила его, он несколько раз пытался бросить писанину, поступить на службу в какую-нибудь захудалую контору. Немного поработал в газете, пока не уволился, плюясь от отвращения к газетной поденщине, и только потом, у Юденича, неожиданно полюбил журналистику и стал блестящим очеркистом.

А потом, когда появились небольшие деньги, решил, что уж лучше так, чем вообще никак, к тому же в это время у него уже была Муся.

Муся всегда помогала ему, всегда верила в его силы, и ему это было необходимо как воздух. Литература вовсе не была его жизнью, тем более не была она для него «святым ремеслом». Гораздо больше, чем написанные и напечатанные буквы, Рудаков любил саму жизнь с ее восходами и закатами, приливами и отливами, с ее изумительными красками и запахами.

Одно время он хотел стать акробатом, научиться стоять на голове. Но у него не вышло. А с литературой получилось. Не сразу, но получилось. И не надо, не надо говорить про «искру Божию» и про «святое ремесло» – ведь ничего такого в природе просто не существует, и вообще это как-то даже нечестно. Хотя бы перед самим собой.

А существует не «святое ремесло», а бумага, чернильное перо и мусорное ведро под столом, куда кидаются черновики после переписки.

Так получилось, что эта третья жизнь закончилась и он оказался во Франции. Муся с ним поехала бы и туда, но вся беда заключалась в том, что к тому времени они уже расстались, и ему тогда казалось, что навсегда.

Когда подъехали к Белорусскому вокзалу, внимание писателя привлекла одиноко стоящая на перроне невзрачная старушка. Он подумал о том, какая же это невеселая вещь – старость!

А потом, когда вышел из вагона и какие-то девушки в школьных формах как-то уж очень демонстративно, очень показательно вручили ему большой букет белых роз, когда немногочисленные члены партийной комиссии по его «организованной встрече» окружили его со всех сторон, как-то незаметно протиснулась к нему и эта самая старушка. Он сначала почему-то подумал о том, что она ошиблась, что она, может быть, уже и не в своем уме, что сейчас, наверное, придется говорить что-то очень неловкое и невеселое, что всех отвлечет от протокольного события встречи знаменитого писателя на перроне.

Но он ошибся, поскольку в старушке узнал Мусю.

– Му...сень...ка, – медленно, по складам, произнес Рудаков, и в этом было нерукотворное чудо, поскольку только один, первый и последний раз он сумел выговорить правильно ее имя. Какие звуки он произносил потом, уже не важно. Важно, что она вовсе не была шокирована его речью. Казалось, она понимала все его слова.

Сразу же, увидев постаревшее, морщинистое лицо первой жены, Рудаков понял, что она не просто волнуется. Муся волновалась за него, и волновалась не только за его здоровье. Она волновалась за то, как сложится его жизнь в Совдепии. Конечно, такого прославленного человека не должны тронуть, но кто знает.… Ведь он редактировал белогвардейскую газету, дружил с Юденичем, написал несколько антибольшевистских очерков.

Враг? Какой он враг? Может быть, бывший враг, но теперь, после инсульта, он уже не может ни для кого представлять никакой угрозы.

Ни Муся, ни сам Рудаков не мог понять, что он только пешка во всей этой большой игре. Именно на него сделали ставку ребята из ГПУ и приставили к нему умного, изворотливого, исполнительного Яшу Свойского. Именно ему, Рудакову, суждено было, согласно этой игре, расколоть русскую творческую эмиграцию на два лагеря, именно ему отводилась роль первой ласточки, возвратившейся на родину.

Цель была проста до умопомрачения – похоронить Рудакова в Москве, на Новодевичьем, а перед этим сделать из него блудного сына.

А библейский отец уже ждал в Кремле и набивал свою знаменитую трубочку табаком из папирос «Герцеговина Флор».

– Я так понимаю, что Михаил Дорофеевич устал с дороги, – проговорил Яша, деловито оттирая от Рудакова низкорослого очкарика в удивительно крупной, до носа, кепке, по всей видимости, журналиста и обращаясь к нему. – А планы у нас такие: завтра едем на физкультурный парад, в среду – встреча с правлением Союза писателей. Недели через две организуем авторский вечер Михаила Дорофеевича с привлечением артистов МХАТа. У него с этим театром давнишние связи.

– А как же военные? Курсанты ждут своего писателя! – начал было очкарик.

– Извините, встреча с журналистами у нас будет завтра, после парада. Прямо на Красной площади. Минут двадцать, не более.

– Докумака, Яка, докумака! – громко сказал Рудаков и, как бы испугавшись своих слов, потянулся за носовым платком. Платок вывалился из дрожащей руки и, как назло, упал в лужу.

Свойский ринулся было поднимать платок, и если б не неожиданная лужа, наверняка бы поднял его, но рука его задрожала в воздухе, и он понял, что вытаскивать платок из грязной лужи и тем более выжимать его от воды не слишком к лицу сотруднику ГПУ… Потянулся за своим платком, но понял, что это еще менее выигрышно. Неожиданно выручила Муся:

– Держи, держи, Michel, у меня есть чистый платок.

Так много искренней заботы было в этом непроизвольном женском жесте, так много внимания, что Рудаков почувствовал, как у него запершило в горле.

– Я созвонюсь с вами, Мария Игнатьевна, – сказал Яша Мусе, – а сегодня разрешите мне вас не приглашать. Михаил Дорофеевич устал с дороги, к тому же я чувствую, что он сильно разволновался, увидев вас среди встречающих. И вообще… позднее приедет Матильда Осиповна.

– Данда де демедит! Не продимедит! – закричал Рудаков.

– Ну, конечно, – еле слышно проговорила Муся. – Матильда Осиповна не приедет. Она останется в Париже.

– Не знаю, ничего пока не знаю, – вновь вмешался Яша, и его юношеский тенорок зазвучал с некоторым раздражением.

Яков Зиновьевич давно уже комплексовал из-за того, что товарищи уполномочили его заниматься делом, казавшимся ему если не совсем детским, то уж никак не соответствующим его высокой профессиональной квалификации. Он-то, бывший подпольщик, чудом не попавший в свое время в аппарат Троцкого, опытнейший работник ГПУ, должен был, как нянька, цацкаться с этим инсультником.

Правда, он и сам когда-то, будучи учеником ремесленного училища, зачитывался рассказами Рудакова, плакал над судьбами спившегося еврейского музыканта, гимназиста, остановившего поезд на ходу, кадета, подцепившего срамную болезнь в публичном доме… Но когда это было! Еще в той, царской России!

Рудаков был бывшим, старорежимным писателем, и Яша прекрасно понимал, что даже если бы Михаил Дорофеевич был абсолютно здоров, то в лучшем случае продолжал бы сейчас писать так же, как раньше, – о погибших от голода собачках, о провинциальных учителях и актерах, о романтических девушках, ведущих дневники в беседках и скучающих на летних балконах…

Разве такие рассказы нужны трудовому народу?

А если уж говорить честно, то Яков Зиновьевич глубоко презирал народ и вовсе не думал о том, что какая-либо литература ему вообще была нужна. Литература нужна тем людям, которые умны от природы и умеют сплотить этих неорганизованных трудовых пчел на грандиозные подвиги по строительству коммунистических ульев. Они должны трудиться день и ночь, собирая мед для людей культурных, *способных к организации*.

Партийную дисциплину Свойский ставил выше всего. Ну поручили ему дело Рудакова, он задание выполнил достойно, на сто процентов. Довез старичка до Москвы живого – берите, товарищи дорогие, вашего классика, сажайте его на постамент! Завтра он пойдет к Ватутину и скажет ему все, что думает об этом. Пусть назначит Рудакову другого куратора, скажем, какую-нибудь Завьялову. Ну да, Завьялову. Бывшую детскую писательницу, пожилую одутловатую коренастую даму с утиной походкой, в круглой шляпе и с постоянно падающим с пористого носа пенсне с толстыми, заляпанными жиром линзами. А его опять – в Париж, на сверкающие бульвары, где столько цветов, музыки, красивых женщин! В Париж, в Париж! Ведь должен же кто-то разрабатывать этих русских эмигрантов! А кто, кроме Яши, справится с этим?

И не знал Яков Зиновьевич, что жить ему оставалось всего полгода, что найдут бдительные коллеги его фамилию в записке Троцкого и раздуют из этой незначительной записки черт знает что.

2

Рудаков проснулся от чувства жуткой духоты. Ему казалось, что потолок надвигается на него. Потянулся к стакану с водой, потом направился в уборную по малой нужде.

В Париже, конечно, климат совсем другой. Но ведь Россия – страна крайностей. Сейчас жара африканская, а зимой выпадет снег по шею. Зачем ему все это? Зачем ему это теперь? Неужели здесь умирать будет легче?

Соседняя дверь отворилась, и на пороге появилась Муся.

– Они все-таки милостиво разрешили мне пожить с тобой. Я им объяснила, что твоя актриска никогда сюда не приедет. Этот Свойский уже сам не рад, что тебя ему поручили, и проболтался мне, что скоро у тебя будет другой шеф.

– Кунтуга меф! Кунтуга? – проговорил Рудаков как-то особенно печально. Сейчас, стоя возле уборной на левой ноге, волоча за собой правую, слегка парализованную, он напоминал большую, старую, печальную цаплю.

– Да я и сама не знаю, зачем тебе нужен шеф, моя радость. Но так у них заведено. У всех, кто возвращается из эмиграции, первое время должен быть куратор, то есть надзиратель, конвойный. Но мы с тобой люди благоразумные, мы с этой властью ссориться не будем.

– Мунтагага, Муга, мунтагага. Ты ко мнок опят. Но не думай, что ко мнок опят!

– Почему же ты не думал? Кто еще здесь есть у тебя?

Рудаков, уже начавший привыкать к непониманию окружающих, был потрясен тем, что Муся понимает каждое его слово. Как будто вовсе не было этого удара! Муся всегда его понимала. Странно, что он совсем забыл о ней и никогда почти не вспоминал за последние годы.

– Ты бы поспал, радость моя. Завтра нам на парад идти.

Какой еще парад? Ну да, завтра будет физкультурный парад.

Никто, кроме Муси, не понимал, что Михаил Дорофеевич совсем не изменился внутренне, что он понимает все слова, обращенные к нему, и что он способен воспринимать все новое.

Под утро, когда Муся оставила его одного, он почувствовал у себя то состояние, которое назвал сам для себя однажды, вслед за Толстым, «арзамасским ужасом». Михаил Дорофеевич вовсе не ощущал того, что суждено было ощутить однажды Льву Николаевичу в Арзамасе, но ему всегда очень хотелось понять, что имел в виду Толстой под «арзамасским ужасом». Поэтому и он редкие, но знакомые ему приступы немотивированной тревоги называл именно так, хотя они, возможно, и не имели никакого отношения к тому, что испытал тогда Толстой в этом богом забытом городишке. Это чувство всегда сочеталось у Рудакова с ощущением иным, ощущением настолько своеобычным, что само его сочетание с тревогой было чем-то странным, необъяснимым, поскольку ощущение это заключалось в невероятной трезвости и отчетливости, с которой представали перед ним все явления жизни.

Почему он оставил Мусю? Ту самую Мусю, которая побежала за ним на край света, которая чертила ему нелепые чертежи, когда он решил зачем-то поступать в военную академию, переписывала для журналов его первые рассказы (рудаковский почерк не мог разобрать никто, кроме Муси). Почему променял ее на легкомысленную длинноногую Матильду, самовлюбленную неудавшуюся актерку?

Вальяжный Ражев поступил иначе – он жил в Париже со своей Зиночкой, не расставаясь при этом и с законной женой. Многие осуждали классика, но куда больше было тех, кто смотрел на его открытое двоеженство сквозь пальцы. Более того, были и такие, кто откровенно восхищался его поведением, его вседозволенностью, его легкостью – легкостью письма, легкостью получения премий, легкостью отхождения от стереотипов, этаким легким отношением к жизни, которое и должно быть, наверное, у таких особенных, неординарных людей.

Михаил Дорофеевич не был легким. Он был сыном своей пастозной матушки, и тяжелое, неровное матушкино дыхание с тошнотворным запахом хлебного кваса и кариозных зубов преследовало его всю жизнь. А ведь еще и тетенька была, богомольная Филарета – хромая, с перекошенным и морщинистым личиком, напоминающим печеное яблоко

«Нельзя, Мишенька, в пост курочку кушать. Боженька не велит

И то нельзя и другое нельзя. Нельзя, и все тут.

Завел себе актриску, хорошо. Значит, уходи от жены. Грешно в двоеженстве жить, ты ведь не басурман какой!

– А ты знаешь, Миша, что тетя Филарета жива до сих пор? – Муся не только понимала его, она, казалось, и мысли читать могла. – В доме престарелых живет, на особом положении. Когда их монастырь в Ярославле местные власти разрушили, она сразу от Бога отреклась, да еще и донос на игуменью накатала. Игуменью на другой день к стенке, а Филарету – красным уголком заведовать, а потом и избой-читальней. Неисповедимы пути Господни.

«Vias Domini inscrutabilia sunt», – механически перевел Рудаков ее последние слова, а потом сам удивился, почему вдруг этот перевод возник в его голове. И не случайно, конечно, возник, постольку католическая служба была одним из последних его парижских впечатлений. Старенький кюре чем-то напоминал майора Свецинского, преподавателя фортификации в военном училище.

Эта тяжесть была у него от матушки, именно от матушки. Не случайно матушка тоже от удара померла и сложения была апоплексического.

Не всем же легкими быть, не всем! Ражев-то, так ни разу не съездивший в Ясную Поляну, хорошо помнил, что заявил Толстой о Рудакове (это в письме его было и вошло в собрание сочинений). Три предложения всего старик написал Черткову о Мише, но зато какие!

«Из молодых сейчас лучше всех пишет артиллерийский поручик Рудаков. Недавно приезжал он ко мне, держался букой, краснел, как институтка. Характер у него непростой, но где Вы видели писателя с легким характером?»

– Ты бы поспал чуток, Michel. Demain sur le défilé aller[[2]](#footnote-2).

3

Рудаков действительно заснул и утром чувствовал себя не так уж и плохо.

Угрюмая домработница принесла завтрак.

Около десяти явился Свойский. Его лицо сияло от удовольствия.

– Сегодня, батенька, будете лицезреть своего нового куратора. Там, на параде, я вам его и представлю. Собирайтесь, милейший. Шофер в машине ждет.

Рядом с проглотившим язык водителем с шумом приземлился жизнелюб Свойский. Рудаков и Муся сели на заднее сиденье.

День был жаркий, солнечный. Казалось, вся природа ликовала. Повсюду были развешены транспаранты, красные флаги и портреты человека с усами.

Мусю все это совсем не удивляло, и по ее лицу Рудаков понял, что происходит что-то обыденное, будничное.

Он вспомнил Париж последних дней, и почему-то ему представились низкие, непробиваемые тучи, мелкий моросящий дождик, серая и грязная Сена, куда-то спешащие люди. Такого солнца там никогда не было.

Он совсем не обратил внимания, что мускулистые и красивые городовые, одетые в белые формы, отдавали честь Свойскому и пропускали автомобиль по улицам, где не было ни машин, ни пешеходов.

Рудаков совсем не узнавал Москву. Дело было даже не только в том, что уезжал он через Гельсингфорс вместе с остатками армии Юденича, и знал только Москву довоенную, патриархальную. Это была другая страна, другая планета, другая цивилизация.

Наконец, они вышли из автомобиля на Никольской улице и направились к Иверской.

Под громкую музыку по Красной площади продвигалась колонна полуголых девушек. Рудаков сначала смутился и вдруг неожиданно прошептал, улыбаясь и обращаясь к Мусе:

– Dans les culottes![[3]](#footnote-3)

Муся засмеялась и совсем не удивилась тому, что он так правильно и понятно произнес эту фразу – ведь она хорошо его понимала.

– Не в панталонах, а в трусах! В физкультурных трусах. В этом нет ничего неприличного. Это не просто девушки, это физкультурницы! Это своеобразный цирк, Миша. Ты же так часто писал о цирке!

– Да-да, цийк, цийк, – проговорил Рудаков. – Это цийк.

Слово «цирк» во всех его смыслах удивительно подходило ко всему тому, что наблюдал Михаил Дорофеевич.

Свойский подвел его к небольшой деревянной площадке с двумя ступеньками, с которой очень хорошо был виден Мавзолей и стоящие на нем люди в белых кителях и фуражках. Молчаливые розовощекие молодые люди в одинаковых пиджаках, казалось, не чувствовали летней жары. Они учтиво взяли Рудакова под руки и поднялись с ним на площадку.

– Поднимайтесь… поднимайтесь, пожалуйста, – подчеркнуто вежливо обратился один из них к Мусе, понимая, что пожилая женщина будет очень хорошо смотреться рядом с возвратившимся из эмиграции классиком.

А между тем полуголых девушек сменили юноши, одетые в белые брюки и майки. Юноши шли стройными рядами, высоко поднимая над головами узкие разноцветные флаги.

Потом прошла колонна молодых людей в малороссийских национальных костюмах. Они несли перед собой огромный портрет человека с пшеничными усами, а за ним большой красный транспарант, на котором белыми буквами было написано «Рiдний Сталин».

Малороссы сменились юношами в белых трусах и с голыми торсами, которые постоянно приседали и махали мускулистыми бронзового цвета руками. Юношей сменили девушки с алыми полотнами, а потом вновь юноши, и опять с голыми торсами, но теперь уже держащие в руках винтовки, которые ритмично подбрасывали в воздух и ловили.

Наконец, по Красной площади проплыл фанерный катер, который несли юноши в голубых комбинезонах, олицетворяющие собой морские волны, а в катере, согнувшись, сидели два мальчугана в матросской форме.

– Я раньше всего этого совсем не понимала, – прошептала ему Муся. –
Какой-то дешевый спектакль, опереточная музыка. А эти бесконечные однообразные портреты! А потом вдруг до меня дошло – эпоха наступила иная. Все старое, все эти панталоны…закончилось. И мы должны стать своими в этой новой жизни.

Так, стало быть, это вовсе еще и не конец. Это начало новой, пятой жизни. Как знать, может, за пятой жизнью начнется шестая, а потом и седьмая!

Две дородных дамы за пятьдесят в овальных белых шляпах внимательно глядели на Рудакова. Похоже, что они узнали его по фотографии в собрании сочинений. Судя по их возрасту, это вполне могли быть его читательницы. Увидев, что Михаил Дорофеевич смотрит на них, одна из дам приветливо помахала ему рукой в белой кружевной перчатке и улыбнулась.

И тут Рудаков сделал нечто глубоко символичное. Хотя, конечно, если смотреть со стороны, то ничего особенного он и не сделал

Он просто медленно и плавно поднял здоровую, не парализованную руку и, поставив ладонь параллельно лицу, слегка растопырив пальцы, медленно помахал ладонью туда-сюда – помахал точно так же, как эти люди в белых кителях, стоящие на Мавзолее.

1. Это смешно, Рудаков (*фр*.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Завтра на парад идти (*фр*.). [↑](#footnote-ref-2)
3. В панталонах (*фр*.)! [↑](#footnote-ref-3)